

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

Ф. ПАНФЕРОВ

Своими глазами

П 16

30366



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
1942



СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Повесть

МАЙОР ШИЛОВ

1

О майоре Шилове говорили, что это человек не только необыкновенной храбрости. — на одной храбрости в современной войне далеко не ускачешь, — но вдумчивый, с военной смекалкой и инициативой. Говорили о нем и другое: будто он не раз проникал далеко в немецкие тылы, взрывал там склады боеприпасов, уничтожал штабы, и будто «обошел весь свет», воевал в Испании, в Сахаре, в Китае. Говорили всякое. На фронте люди не только воют, но и складывают легенды.

Сопроводять нас взялся полковой комиссар Левченко. Ему лет двадцать восемь, а, может быть, даже меньше: у него очень молодое лицо и такая теплая улыбка, что порой он кажется совсем еще юношей. Он четыре года назад окончил Сельскохозяйственную академию и последнее время работал старшим агрономом в одном из крупных совхозов Украины.

2

До передовой линии всего каких-нибудь два-три километра, но путь был опасен.

— Немцы с высоты Н. бьют по всякой движущейся цели, — будь то автомобиль, походная кухня или просто пешеход, — говорил Левченко.

Вот почему мы отправились в сумерки.

Вначале шли тройкой, а как только стали приближаться к цели, Левченко настойчиво посоветовал, чтобы мы шли за ним следом, то-есть гуськом.

— И, пожалуйста, не сбивайтесь с тропы: поля тут минированы, — сказал он. Затем, чуть погодя, шепнул: — Нагнитесь как можно ниже и бегите за мной.

Мы нырнули в узенький окопчик и побежали, слыша, как над нашими головами понеслись пули.

— Это место у него пристреляно, — объяснил Левченко, когда мы выскочили из окопа, — и он иногда пускает пулеметную очередь. На-авось. Но на-днях тут был убит сержант. Прекрасный парень. Погиб благодаря своей небсмотрительности.

Мы снова нырнули в какую-то темную щель и вскоре очутились в блиндаже.

Горит лампа, освещая стены блиндажа, бревенчатый березовый потолок, нары, устланные пахучим сеном, столик и самовар. Где же майор Шилов?

— В бою, — ответил Левченко. — Позавчера мы получили приказ выбить немцев с высоты Н., — он развернул карту и, водя по ней тупой стороной карандаша, стал разъяснять нам «ход событий». — Вот эту высоту Н. заняли немцы. Как видите, она незначительна по размерам, но в военном отношении играет огромную роль: немцы, укрепившись тут, как в орлином гнезде, имеют полную возможность не только наблюдать за расположением наших частей, но обстреливать их. Нам предложено выбить их с высоты. Второй день выбиваем.

— Как? Второй? С такой незначительной высоты?

— Да. Второй.

— Враг наш очень коварен. Его надо перехитрить. Вот вчера всю ночь майор Шилов выводил из терпения врага, изматывал его мелкими ударами. Под конец врагу показалось, что у нас нет сил, и он сам пошел в наступление. Майору Шилору это только и надо было: он из минометов расстрелял немцев. А сегодня? Сегодня майор Шилов придумал что-то такое... А впрочем, пойдите и посмотрим.

2

Ночь черная, густая и такая же ветреная, зябкая, как и утро. Кажется, живет только небо: оно, освещенное ракетами, блеском минометного огня, взрывами артиллерийских снарядов, колышется, как гигантское море.

— Сюда, сюда, — говорит Левченко и по темному узкому окопчику ведет нас за стог сена.

Как чудесно пахнет сено!

— Все тут изменилось, не изменился только запах сухих трав. — задумчиво сказал Левченко.

В это время три ракеты осветили поле боя.

Высота Н. совсем недалеко от нас, может быть, в километре. Там, как показалось нам, растет мелкий кустарник. К высоте вьется набитая дорога. Справа черное, как разлитая нефть, картофельное поле. А слева, будто озеро, ложбинка.

Как только погасли ракеты, немцы открыли ураганный огонь артиллерии, минометов, пулеметов. Затем все резко оборвалось. Непроглядная тьма. Только ветер свищет. Где-то в стороне пронеслась яркая трассирующая пуля.

С высоты Н. слышался гул, затем снова взвились три ракеты и стало видно, как по прибитой дороге, четко отбивая шаг, крепко придерживая за плечом винтовки, спускается в низину рота немецких солдат.

— Психическая атака, — прошептал Левченко.

И еще три ракеты... Рота уже почти в низине... Вот кто-то из бойцов не выдержал, вскопчил. А немцы, отбивая шаг, все идут. Они уже приблизились к картофельному полю. И как бы для того, чтобы показать, с каким спокойствием идут немецкие солдаты, то-и-дело на их стороне взрываются ракеты.

И вдруг из картофельного поля метнулись на роту два прожектора, и рота остановилась, как перед неожиданной огненной лавой. И в ту же секунду вправо, из мелкого кустарника, застрочили пулеметы. Немцы, видимо, еще не пришли в себя от прожекторов, как пулеметы начали косить их. И вот те, кто остался в живых, кинулись в разные стороны, преследуемые прожекторами и пулеметами. Они бежали, спотыкались, падали, как зайцы под фарами автомобиля, и пули, настигая их, обрывали тут — на русских полях — их жизнь.

Все это произошло молниеносно.

И, казалось, безумие этой психической атаки очевидно, казалось, что немецкое командование понимает это.

Но жестокая машина была заведена, и вот с возвышенности, так же четко отбивая шаг, так же освещенная ракетами, стала спускаться вторая рота. И на нее тоже накинута прожекторы, и в эту же секунду застрочили пулеметы... Но жестокая машина крутилась, и с возвышенности стала спускаться третья рота, так же четко отбивая шаг.

Прожекторы вскинулись вверх, вильнули и, как бы играя, погасли.

Тьма снова окутала поля, леса, возвышенность. Снова завизжал ветер.

— Мерзавцы, — зло проговорил Левченко, нарушая тишину. — А майор Шилов молодец: такое придумал... — и снова смолк.

И вдруг по темной земле, по оврагам, понеслось оглушительное «ура».

Ф. Панферов,

— Пошли в атаку, — с дрожью в голосе и очень тихо, словно боясь своим вмешательством повредить атаке, проговорил Левченко.

В эту секунду снова грохнуло «ура», затем где-то на подступах к высоте рванули немецкие минометы, отвратительно каркая, как бы отплевываясь, но уже было поздно: в окопы, в блиндажи полетели гранаты в окопы, в блиндажи ворвались бойцы Красной Армии, и до нас донеслись отчаянные крики немцев.

— Ага-а-а. — торжествуя протянул Левченко.

3

На заре, через какой-нибудь час после того, как высота Н была взята, в блиндаж внесли политрука Пшенцова. Он все время боя находился вместе с пулеметчиками в кустарнике, откуда они расстреляли три немецкие роты, затем пошел было доложить майору Шилову о том, что задание выполнено, но по пути нарвался на мину. Теперь он лежал на нарах — бледный, лицо в крови, на губах запеклась кровь, смешанная с «пороховой» землей. Левченко обтер ему лицо, влил в рот полрюмки коньяку, но Пшенцов продолжал дрожать, будто иззяб на сильном морозе. Он что-то лепетал, показывая все время в одну и ту же сторону, и его никто не понимал.

— Вася! Что ты? Вася! — наклонясь над ним, глядя в его помутневшие глаза, спрашивал Левченко и, ничего не понимая из его лепета, взял блокнот и вложил в руку Пшенцова карандаш.

Пшенцов хотел что-то написать, но получились неразборчивые каракули. Карандаш выпал из его руки, и он начал рвать на себе куртку, рвать бесильно, как это делают в бреду. Это была уже предсмертная агония.

Вскоре его отправили в госпиталь, и по дороге он скончался.

В блиндаже сидели молча, опечаленные смертью Пшенцова. Сидели и ждали майора Шилова, надеясь на то, что он рассеет это настроение. Но майор Шиллов не появлялся. Левченко несколько раз ходил к нему в блиндаж и всякий раз, возвращаясь, говорил — то будто бы майор переодевается, то он составляет какой-то новый план, то пишет родным письмо. И только последний раз, вернувшись от майора, Левченко сказал правду:

— Ужасно. Майор никак не придет в себя: смерть политрука Пшенцова потрясла его, — и, чуть погодя, добавил: — не удивляйтесь. Пшенцов был очень талантливый математик. В двадцать четыре года он получил кафедру в Московском университете.

В блиндаж вошел адъютант майора Шилова и громко, четко произнес:

— Майор Шиллов просит вас к себе.

И вот мы снова в том же блиндаже, где были вчера. Блиндаж прибран, повешено маленькое зеркальце и даже вычищен самовар. Чистили его, очевидно, кирпичом или рашпилем: такие зияющие борозды на его боках! Стол уставлен едой и даже две бутылки коньяку. Около стола боец лет двадцати — низенький, расторопный. К поясу у него привешен штык. При нашем появлении он вытянулся и отrapпортовал полковому комиссару Левченко:

— Майор Шиллов приказал подождать. Будет с минуты на минуту. — Все это он произнес так, будто на он подчинен майору Шилову, а майор Шиллов подчинен ему. Обращаясь к тому же Левченко, он с задором проговорил:

— Вот вы меня, товарищ Левченко, на-днях поставили в неловкое положение, — самовар, дескать, давно в бане не был. Глядите, как блестит. Зеркало!

— Ох, Коля, — засмеялся Левченко. — Здорово ты его продрал. Еще раза два так — и до дыр.

— Ничего. На два года хватит. Раз в году буду чистить.

Мы рассмеялись.

Когда Шилов входил в блиндаж, он показался нам огромным. На нем чистая, тщательно проглаженная куртка. Волосы на голове аккуратно причесаны. Лицо выбрито. Вначале показалось, что он непременно поздоровается с нами официально. Но он поздоровался запросто, сказал:

— Слышал я, товарищи, что вы здесь. Но притти к вам сразу не смог: некогда было.

Сел, и мы увидели, что он совсем не так велик, как показалось нам; лоб у него открытый, глаза синие-синие и даже какие-то детские, а лицо светится обаятельной улыбкой.

— Много ты поставил, Коля, — сказал он, показывая на бутылки коньяку. — Нам с устатку и по рюмочке хватит.

— Весь наличный винный погребок, товарищ майор. А притом мы уже договорились, вы — мой подчиненный за столом.

— Не при гостях, Коля.

— Потому как, — продолжал Коля, не обращая внимания на слова майора, — я вас кормлю, а не вы меня. Вот. И по случаю победы предлагаю кушать и выпить...

— Ишь ты, — Шилов улыбнулся, но тут же глаза у него загрустнели.

Мы спросили:

— Вас так расстроила смерть Пшенцова?

Майор встрепенулся, глянул куда-то в сторону:

— Что ж, тут на войне пуля не шадит даже геня. Я вот иногда думаю, через пятьсот, может через триста лет, а может, и раньше, у людей выработается такое же физическое отвращение к тому, — чтобы не то что убить человека, но и ударить его.

— Я думаю, и тогда на нас будут смотреть не-
плохо, — вставил Левченко.

Майор Шилов улыбнулся, обращаясь к нам:

— Ну да, ну да. Это же ясно само собой, что на нас, на нашу страну будут смотреть, как на пионеров воспитания такого чувства... — Он встал, у него, видимо, привычка во время дум ходить из угла в угол, но тут ходить было негде. А он все-таки прошелся — шаг туда, шаг обратно. — И... и поэтому бить мы будем всю эту пакостную Братию! За одного Пшенизова я буду уничтожать их, как вошь. Помните, как замечательно сказал Горький: «Врага надо уничтожать, как вошь, — то-есть безжалостно, с таким же омерзением. Вот так будем бить, Коля, — он стукнул кулаком по столу и весь преобразился.

— Ну да. Ну да. Мы с вами их загоним туда, куда Макар телят не гонял, товарищ майор. — Коля тоже преобразился, стал серьезен, вдумчив и тут же тронул за руку майора. — Но вы покушайте, товарищ майор, а то у меня все сердце изныло: два дня, как едите на бегу. Не годится это. Силы надо беречь, — поучительно заговорил он, — на врага надо силы беречь.

— Это верно, Коля. Прошу, товарищи. Да не просто так, а давайте попросим Сашу Крайнова сыграть.

В блиндаж вошел молодой, румянощекий боец, а вслед за ним другой, коренастый.

— Наша душа — Саша Крайнов — замечательный гармонист, — потрепав по плечу Сашу, сказал майор. — А, Ураз! — он повернулся к коренастому бойцу, с золотистыми чуть-чуть раскосыми глазами. — Это житель астраханских степей Ураз Бузакаров, пулеметчик лихой и певец лихой. Садитесь, товарищи, и давайте споем нашу любимую, — и сам первый запел «Песнь о Сталине».

Мы никогда не слышали такого исполнения песни. Пели все, пели под сводами бревенчатого березового потолка, глубоко под землей, — став вдохновенными; совсем другими, нежели в бою, — нежными, мягкими и мечтательными. Обветренное лицо майора Шилова стало задорным, детским.

Во время пения в блиндаж вошел младший лейтенант Ярцев, рота которого первая ворвалась в немецкие окопы. Он почернел от «пороховой земли», лицо обросло бородой, а глаза такие усталые, что, кажется, вот сейчас он привалится к стенке блиндажа и уснет крепко, непробудно. Но как только кончилась песня, он вытянулся и отрапортовал:

— Высота Н. укреплена, товарищ майор.

— Очень хорошо, — и, повернувшись ко всем, майор Шилов от полного сердца сказал: — Товарищи! Дайте лучшее место за столом младшему лейтенанту Ярцеву: он сегодня среди нас — герой.

Все уступили за столом лучшее место младшему лейтенанту Ярцеву. Он сел. Казалось, сейчас он привалится к стенке блиндажа и крепко уснет. Но как только майор Шилов запел новую песню, Ярцев встряхнулся и, по-крестьянски прикладывая руку к уху, вплеял в общий хор свой басок — густой, грудной и как бы обветренный.

Вдруг майор Шилов оборвал песню, и все в недоумении посмотрели на него.

— Да. Я забыл сказать, контужена Маленькая. Очень опасно.

— Маленькая? Антонина? — в тревоге спросил Левченко. — А где она?

— Отправил в госпиталь.

— Так я... я пойду... Я туда, — и Левченко, бледный, вышел из блиндажа.

АНТОНИНА МАЛЕНЬКАЯ

1

Ее все так и звали — Антонина Маленькая, хотя ей было уже двадцать четыре года, она окончила Медицинский институт и имела звание врача. Да и рост у нее был средний. Но вот почему-то все без исключения — комиссар ли, рядовой ли боец, или даже мы, недавно прибывшие на фронт, — все без исключения называли ее маленькой Антониной. Может быть, это потому, что у нее такие крохотные, но цепкие руки и детская улыбка? А может быть, потому, что вся она — открытая, любит людей, любит так же бескорыстно, как дети любят взрослых. Непонятно было, почему к ней привилось такое имя, тем более, что она была вовсе не беспомощная: она приехала на фронт, зная только врачебное искусство, а тут быстро превратилась в популярного лектора, хорошего чтеца газет, за короткий срок научилась управлять легковой машиной. Все кипело в ее руках. Единственно, чем она никак не могла овладеть, — это огнестрельным оружием. Как-то майор Шилов подарил ей браунинг в кобуре из сафьяновой кожи.

— Маленькая! Бываете вы всюду и возьмите это на всякий случай.

Но браунинг в кобуре из сафьяновой кожи так и остался висеть на стене у ее кровати. Верно, первый вечер она долго и пристально рассматривала его, даже разузнала, как из него надо стрелять, но когда ей предложили выйти на улицу и выстрелить, она, крепко зажмуря глаза, сказала:

— Нет. Как-нибудь потом. А то еще кого-нибудь убьешь.

— Кого же? Ночью-то? В воздухе? Мышь что ли летучую? — упрекнул ее старший врач Иннокентий Гаврилович.

— Ну, а мышь? Она ведь тоже жить хочет.

— Смешная. На фронте, а боится мышь убить.

Антонина склонила голову набок и, глядя в угол, чуть скривив губы, быстро-быстро зароворила:

— Ну, да-а-а! Смешная! Вы не смешной: вы и за обедом в каске.

— Осторожность всегда нужна,— Иннокентий Гаврилович вспыхнул. У него была одна слабость: он никогда не расставался с каской. За обедом — в каске, на улице — в каске, в госпитале — в каске и даже когда ложится спать, то непременно кладет каску в изголовье.— Осторожность всегда нужна.— повторил он и обеими руками провел по лицу, чтобы скрыть, как оно горит, в то же время думая: «Экая задира! Ну, погоди, дождешься у меня».

Так тогда разговор на этом и закончился.

Но сегодня Иннокентий Гаврилович решил настоять на своем.

Дело в том, что только позавчера немцы с высоты Н. обстреляли общежитие работников санитарного персонала. На крыше общежития был разостлан красный крест, и крест этот был виден издали. Однако немцы намеренно обстреляли общежитие. Несколько человек было убито, несколько искалечено. А сегодня командование решило выбить немцев с высоты.

— Значит, Антонина Маленькая тоже потянется на передовую, это уж непременно. Но ее надо задержать. Я лучше сам пойду. А впрочем, что ж, я ведь могу и приказать. Я ведь старший врач,— рассуждая так, Иннокентий Гаврилович вошел в избу, где помещался главный санитарный пункт и жила Антонина Маленькая.

Она была в своем углу и что-то делала там, тихо мурлыча песенку.

Иннокентий Гаврилович кашлянул. Хотел было снять каску, но не снял, решив этим подчеркнуть,

что обстановка сегодня сложная, напряженная и даже опасная.

Антонина выглянула из своего угла и громко крикнула:

— Ага! Иннокентий Гаврилович! Снимите. Снимите каску. Тут ведь не бомбят,— и вышла к нему, уже в полной форме, с перекинутой через плечо полевой сумкой.

— Та-а-к-с,— протянул он, глубже напяливая каску.

— Та-а-к-с?— она вопросительно посмотрела на него.

— Те-е-к-с.— То-есть, нет. Не то. Не то,— заторопился Иннокентий Гаврилович, уже боясь, что она снова повторит «те-е-к-с» и что такой разговор может длиться без конца.

— Вы что это сегодня междометиями изъясняетесь, Иннокентий Гаврилович?

Он ничего не ответил. Сидел и думал:

«А, может, я нехорошо делаю, что хочу задержать ее тут?» Иннокентий Гаврилович вообще любил задавать себе вопросы и не отвечать на их. Он, возможно, и дальше задавал бы их, но она шагнула к двери, собираясь покинуть избу.— И без револьвера?— вырвалось у него,— нет, так нельзя. Прицепить. Непременно!

И он сам пристегнул ей револьвер. Пристегнул и испугался.

— Вы ведь знаете, сколько нашего брата вчера погибло?— сказал он.— Нет, не только в общегитии, а и там, на передовой? Вы понимаете, эти молодчики стали охотиться на нашего брата и там, на передовой. Дикость. Понимаете? Ни в одну войну такого еще не было. Понимаете?

— Ну, конечно, понимаю. Но итти мне надо. Не оставлять же раненых на поле!

Иннокентий Гаврилович насупился и нарочито грубо бросил:

— Вы, кажется, сегодня писали письмо матери? Смотрите, будьте осторожнее, иначе оно может остаться незаконченным,— и, хлопнув дверь, вышел из избы.

2

Как только Иннокентий Гаврилович ушел, Антонина достала из книги письмо к матери. «Мама. Меня тут все любят. И я тебе хочу сказать»,— дальше она еще не написала и вот теперь на какую-то секунду склонилась над письмом, ярко представив себе мать-старушку, тетю Груню, как ее все зовут. Затем вынула фотографическую карточку и, тихо поглаживая мизинцем голову матери, проговорила:

— Мамуленька! Какие у тебя седенькие височки... А ведь может быть... Ох, нет, нет!— Она тут же отбросила печальную мысль и ласково улыбнулась, вспомнив, как мать провожала ее. Она совсем не плакала и, усаживая дочку в вагон, намеренно грубовато ворчала, все время зачем-то поправляя на Антонине синий берет. И только, когда поезд уже тронулся, у нее неожиданно хлынули слезы. Все это Антонина вспомнила теперь.— Мамочка!— и, спрятав карточку, она стремительно покинула избу.

Была ночь, черная, густая и какая-то тяжелая, будто залита чугуном. С передовой линии слышались взрывы артиллерийских снарядов и мины. Мины с хриплым шипением перелетали через Антонину и, казалось, вот-вот упадут на голову. Иногда взлетали ракеты. Они взрывались в вышине и, освещая огромное пространство, угасая, падали. А то вдруг по небу проносились трассирующие пули — голубые стремительные огни. И хотя все это происходило на передовой линии и несло смерть, Антонина на миг остановилась и залюбовалась этой

ночной игрой огней и разрывов. Затем побежала по знакомой тропе и вскоре очутилась в блиндаже майора Шилова.

Майор Шилов сидел за телефоном и отдавал какие-то совсем непонятные для Антонины распоряжения, вызывая то «Волгу», то «Тверь», то почему-то «Париж». Но вот он оборвал телефонные переговоры и, повернувшись к Антонине, заулыбался:

— А-а! Маленькая! Пришла? Это хорошо. Во-время пришла, — он посмотрел на часы. — Через несколько минут начнем наступать. Идите-ка туда. Только одна не ходите, возьмите с собой санитаря Яшу. Он тут, в соседнем блиндаже. Идите-ка.

Санитар Яша был моложе Антонины. Веснушчатый, с задранном носом, он говорил всегда как-то по-своему. Например, если ему что нравилось, он говорил: «Это очень даже хорошо, прямо беда».

Вместе с Антониной они пробрались в роту младшего лейтенанта Ярцева. Увидев Антонину, Ярцев, всегда по-крестьянски молчаливый и даже суровый, передал по рядам бойцов: «Антонина Маленькая к нам пришла». Бойцы оживились, на душе у каждого стало сразу веселей. Антонину Маленькую они хорошо знали: она не раз вела с ними беседы, читала им газеты.

И вот младший лейтенант Ярцев, искусно повертывая фонарик, посмотрел на часы. Было ровно двенадцать. Тогда он шепнул Антонине:

— Оставайтесь здесь. Туда, к окопам не суйтесь. Подаю команду, — он встал во весь свой богатырский рост и крикнул: — За Родину, товарищи! Вперед! — и первым кинулся к немецким окопам.

Рота взметнулась. Крупно шагая, выставив вперед штыки, освещенные заревом ракет, оглушая окрестность громким «ура», прыгая через кочки, рывины, бойцы хлынули на неприятельские окопы неудержимо, как поток.

Антонина Маленькая осталась на месте и, крепко сжав руки на груди, как завороченная, смотрела на стремительный бег бойцов.

Яша крикнул ей:

— Раненые!

Она кинулась к Яше, который уже перевязывал раненого бойца. Перевязывая, он медленно, неторопко бормотал: «Здорово выковыривают из нор немцев, прямо беда».

Антонина взялась помогать ему. Ее крохотные, цепкие руки делали перевязку быстро, аккуратно и бережно.

А рота младшего лейтенанта Ярцева, выбив немцев из окопов, блиндажей первой линии, метнулась на вторую линию, затем на третью.

«Ура» разносилось уже где-то далеко, приглушенно. За ротой двигались Яша и Антонина. В работе они даже не заметили, как за опушкой леса загорелась заря.

Около блиндажа, мучительно извиваясь на земле, кричал раненый немец.

— Перевяжите его, — сказала Антонина Яше, а сама побежала к стонавшему красноармейцу.

Красноармеец лежал в ложбинке, стараясь, как и все раненые в таких случаях, переползти в канавку, чтобы там укрыться от случайного удара. Антонина опустилась на колени и быстро стала перевязывать ему ногу, пробитую пулей. Боец быстро, по-волжски «окая», заговорил, обдавая ее прерывистым дыханием:

— Вы ногу-то мне оставьте, товарищ доктор. Без ноги я уж не жилец, как хотите, а оставьте. Понимаете, доктор?

— Ну, еще бы не понимать. Какой уж жилец без ноги? — невольно подражая ему и «окая», ответила Антонина.

Боец очень обрадовался тому, что она заговорила его языком, и, уже улыбаясь, перешел на «ты»:

— А ты совсем наша: говоришь, как моя сестренка Маруся. Ты прямо наша, честное слово.

— Честное слово, ваша и есть. Вот война кончится, обязательно поедем к вам в деревню.

Боец замотал приветливо головой.

В эту самую минуту случилось то, чего никто не ждал. Неподалеку от Антонины из норы, тщательно замаскированной в кустарнике, выбрался немецкий солдат — оборванный, грязный, давно не стриженный. Сначала он показался сумасшедшим. Но вот он выпрямился во весь рост и, глянув в сторону Яши, который перевязывал раненого немца, метнул в Яшу гранату. Антонина это запомнила на всю жизнь. Она видела, как граната рванулась, как рука Яши отлетела, точно она была привязанная веревочкой, как подбросило раненого немца и как второй немец повернулся в ее сторону и снова замахнулся гранатой.

Антонина кинулась вперед, крикнув: «А, мерзавец!» И тут же увидела, как немец всплеснул руками, точно защищая лицо от пыли, и плашмя упал на землю: пуля бойца, внезапно появившегося за ее спиной, безошибочно настигла его.

— А-а! Убит! — мелькнуло в ее голове, и в ту же секунду ее что-то сильно ударило в голову и она сунулась к бугорку, как маленький-маленький воробушек. Где-то в ее сознании промелькнуло: мать-старушка, ворчливый, но добрый Иннокентий Гаврилович, раненый боец, недописанное письмо матери, звериное лицо немца и... вдруг все это покрылось тьмой, и Антонина Маленькая скатилась куда-то глубоко, глубоко...

Майор Шилов ахнул, когда увидел, как упал немец, как взорвалась граната и сбило с ног маленькую Антонину. Он кинулся к ней, подхватил ее на руки и, унося прочь с поля боя, шептал:

— Ах, ты, Антонина. Наша маленькая Антонина. Через несколько дней маленькая Антонина пришла в себя, и еще через несколько дней у нее восстановилась речь. А сегодня она лежала в палате, в той самой палате, куда она не раз заходила как врач, и писала письмо своей матери. Она лежала перед окном. Легла зима: выпал первый пушистый снег. И Антонина, то-и-дело поглядывая на снег, писала:

«Мама! Меня тут все любят. У нас выпал пушистый снег. Бойцы мне вместо цветов принесли с передовой линии сосновые ветки. И сосновые ветки так хорошо пахнут, мама...»

Письмо было несвязное, но сердечное, теплое и открытое, как открыта и вся душа Антонины Маленькой.

КОМИССАР ЛЕВЧЕНКО

1

Комиссар Левченко легкой походкой пересек полянку и направился в блиндаж младшего лейтенанта Ярцева. Такой легкой походкой, чувствуя во всем теле бодрость, он ходил в дни удач. Сегодня удачный день: немцы выбиты с высоты Н, и теперь их окопы и блиндажи заняты ротой младшего лейтенанта Ярцева. Между Левченко и лейтенантом была какая-то невысказанная дружба, они о ней ни разу не говорили, но при встрече всякий раз любовно посматривали друг другу в глаза.

Левченко спустился в блиндаж и невольно остановился. Он ждал, что Ярцев там один, но увидел, что тот окружен бойцами. Все были увлечены спором. Молодой гармонист Саша Крайнов с жаром до-

казывал, что дружба вообще существует редко. Дружба большей частью разлетается в пух и прах при первой же смертельной опасности. На него нападали. Молчала только Ярцев. Он сидел в углу и, казалось, дремал. Но вот он поднял руку, провел ею по лицу и сказал:

— В бою, кроме долга, обязанности перед родиной, главный козырь — дружба. — Сказав это слово «козырь», Ярцев смутился, понимая, что мысль свою высказал неточно, но, увидав, что его все внимательно слушают, успокоился и продолжал: — Вот есть один человек в полку нашем. Я ему, конечно, всегда, как старшему, подчиняюсь, но случись с ним беда какая, я пойду выручать его и уж не только потому, что я обязан.

— Даже если тебе грозит смерть? — с молодым и довольно наивным задором перебил его Саша Крайнов.

— Об этом я и не подумаю, потому что знаю: если не выручу своего друга, я перестану любить и себя. — Ярцев даже потемнел в лице.

«Какой молодец!» — подумал Левченко и хотел было вступить в спор, но Саша Крайнов с еще большим задором крикнул:

— Знаем, о ком говоришь! О комиссаре Левченко.

Левченко попятился и незаметно вышел из блиндажа.

После блиндажа ночь показалась еще темнее. Расспросив часовых, как пройти в окопы второй линии, Левченко направился туда, не взяв с собой своего адъютанта, и сделал это напрасно: вскоре он сбился с тропы, попал в какой-то лес и тут, на повороте к оврагу, на него неожиданно напали немцы. Левченко не успел даже выхватить наган, как был связан.

«Ну, вот, — мелькнуло у него, — я и влопался в качестве «языка». Что ж, испытаем и это». — Левченко обыкновенно не терялся ни при каких, даже самых тяжелых, обстоятельствах, но сейчас сердце у него невольно сжалось, во рту пересохло и страшно захотелось пить. «Ну да. Ну да. Но надо как-нибудь дать о себе знать», — подумал он и рванулся.

На него накинули мешок, и он почувствовал, как его подняли и понесли.

Через несколько часов он очутился в комнате, обитой коврами, с завешенными окнами. За столом сидел немец, гладко причесанный. Улыбаясь, он встал из-за стола и, показывая на кресло, заговорил на русском языке:

— Прошу садиться, комиссар Левченко. Мы с вами почти старые знакомые, хотя вы мною интересовались гораздо меньше, чем я вами. Это вам упрек. Прошу садиться. Я Иоганн Миллер. Слыхали? Нет? И нам есть о чем с вами поговорить. Не так ли? Ах, вы не хотите сесть. Вы хотите стоять передо мной, как перед представителем великой Германии?

Левченко сел.

Под глазами у Иоганна Миллера появились мешки, но он снова заулыбался и, резко отдернув штору с окна, сказал:

— Хотите, я вам покажу, как мы обучаем молодежь? Вашу молодежь.

Левченко посмотрел в окно. За окном — деревенская улица, столб, к столбу привязан, как бы распят, нагой человек.

— Это ваш солдат, — сказал Миллер. — Сейчас на нем будут обучать молодежь стрельбе по живой цели.

И верно, из-за хаты вышли ребята. Было их человек двадцать. По одежде можно было определить, что все они ученики ремесленного училища. Тут же, следом за ребятами, из-за хаты вышел немец. Он подошел к ребятам и что-то долго объяснял им, показывая пальцем на распятого красноармейца.

— Это он им объясняет,— заговорил Иоганн Миллер,— какое место у человека убойное. Понимаете? Голова, сердце, живот. Я, например, люблю стрелять в живот: человеку тогда кажется, что он еще жив, но он мертв. И наш знаменитый доктор Фридрих все это прекрасно знает.

Тот, кого Иоганн Миллер назвал Фридрихом, отошел от нагого красноармейца, приблизился к одному пареньку, сунул ему в руки винтовку и что-то скомандовал — видимо, «огонь». Паренек весь сжался, посмотрел во все стороны и вдруг, бросив винтовку, плашмя упал на землю и начал биться, мелко-мелко, как выкинутая на берег рыба. Тогда Фридрих подошел к нему и, слегка наклонясь, выстрелил ему в затылок.

— Правильно! Bravo! — воскликнул Иоганн Миллер и, повернувшись к Левченко, заговорил с полным убеждением, что это так и должно быть. — А как же? Это не мужчина, это девчонка: мужчина должен стрелять по команде. А как же? Мы же их ловим и обучаем быть храбрыми. А как же? Вот посмотрите, как стреляет гитлеровская молодежь.

Со двора выбежали шесть молодчиков, одетые в военную форму. Они встали в ряд, по команде Фридриха дали залп по нагому красноармейцу и тут же кинулись к нему «изучать убойные места».

Иоганн Миллер, видимо, заметил, как гневно блеснули глаза Левченко, затем, задернув штору на окне, сказал, кривя губы:

— Вы думаете, ваши ребятишки в красноармейца стрелять не будут? Будут. Не будут? Ну и что же? Тех мы перестреляем. Из сотни одного выберем. О-о-о! Это будет такой...

За стеной заиграла музыка. Иоганн Миллер как-то весь преобразился: глаза у него остервенели и он, отбрасывая всякую напускную вежливость, подойдя вплотную к Левченко, ткнул его пальцем в нос:

— Эй! Ты! Довольно дурака морочить, — он, очевидно, хотел сказать «валять дурака». — От тебя мне надо немного — проведи моих людей за линию, и все. И гуляй. Ну-у? — и положил на стол револьвер.

«Пусть он меня убьет, но я дам ему по морде», — мелькнуло у Левченко, и он ринулся на Иоганна Миллера.

Дверь открылась, и трое вцепились в плечи Левченко.

— А-а-а! — завизжал Иоганн Миллер. — Качели ему! На пятнадцать минут. Нет, на десять. Я сегодня добрый.

2

Дверь со скрипом открылась, и Левченко втолкнули в полутемное помещение. Он сразу не мог оглядеться. А по тому, как наверху гремела музыка, он определил, что находится в том же здании, только в нижнем этаже. Через несколько минут глаза его привыкли к темноте, и он освоился.

Помещение было не велико, в несколько окон, но все окна были заколочены, кроме одного, зарешеченного. Левченко осторожно, ожидая западни, подошел к окну, вцепился руками в железную решетку, дернул. Она была вделана очень крепко.

«Да-а, отсюда не вырвешься». — подумал он, намереваясь пройти в темный угол, чтобы осмотреть и его, и вдруг почувствовал, что руки у него слипаются. Он посмотрел на свои ладони и замер на месте: ладони были в крови. Левченко посмотрел на решетку, затем на подоконники, на пол на стены, на потолок — все сплошь было залито кровью. «Неужели это человеческая кровь?» — в ужасе подумал он и невольно протянул руку к подоконнику, двумя пальцами поддел застывшую кровь и потянул. Застывшая кровь поползла, как перепревшая шагреневая кожа. У Левченко по всему телу пошла мелкая-мелкая дрожь, зубы стучали. «Не может этого быть! Не

может быть, чтобы это людская кровь», — проговорил он и отбежал в темный угол. И отсюда, из темного угла, он увидел, — рядом с дверью, почти у косяка, окровавленный след кисти руки. И тут же он ярко представил себе, как окровавленный человек кинулся в дверь, как он промахнулся и уперся рукой в стену рядом с косяком... И Левченко понял, что пытали здесь не трусов, а людей, глубоко преданных родине, людей благородного и чистого сердца.

Дверь отворилась, вошел в сопровождении двух солдат Иоганн Миллер.

— Ах, это вы... Простите, помешал вам. Вы опять молчите? Странный вы человек, — и усмехнулся. — Простите, там наверху я вам нагрубил. И вот вам мое извинение — качели даю вам не на десять минут, а на восемь. Только восемь. И вы следите, чтобы эти остолопы, — показал он на солдат, — не перетянули дальше. Только восемь минут, — и, что-то объяснив солдатам, шагнул к двери, затем повернулся и, показывая на стены, на потолок, на подоконники, проговорил: — Это все кровь большевиков. Понимаете? Будьте разумны. Мне вас жаль, вы еще совсем молодой, и у вас есть возлюбленная, есть мать. Представьте себе, как содрогнется сердце вашей возлюбленной, особенно вашей матери, в минуту, когда вы будете... — он провел рукой по горлу и издал звук, похожий на крик старого гуся. — А прошу я немного — проводите моих людей через линию. Поверьте, об этом никто знать не будет. Вы скажете, что вы заблудились или еще что-нибудь такое. — Иоганн Миллер посмотрел в глаза Левченко и отвернулся, бормоча: — Такие глаза надо просто выбивать. — И вышел, крепко хлопнув дверью.

Солдаты раздели Левченко догола и тут же поделили между собой его одеяние.

«Так, — решил Левченко, — они делают мое добро, как после умершего. Значит, живым отсюда не выбраться. Ну, что же, насолю им, пока жив».

Солдаты подвели Левченко под кольца в потолке, затем привязали к кольцам два полотенца, сделав на конце каждого из них петлю, и продели их подмышки Левченко. Потом его вздернули. Когда вздергивали, Левченко даже улыбнулся и подумал: «Шуточками изволят заниматься». Но тут же, через несколько секунд, голова у него набухла, глаза полезли на лоб, а тело так невыносимо зануло, что Левченко ровно через четыре минуты впал в состояние глубокого обморока. Его сняли, облили солевой водой и бросили в угол. Когда он пришел в себя, то не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, голова же была, как каменная.

К нему снова вошел Иоганн Миллер. Он вошел расторопной, чуть покачивающейся походкой и еще с порога заговорил:

— Ну, как наши качели? О! О! Вы не такой богатырь, чтобы выдержать восемь минут. Впрочем, еще никто на свете восьми минут не выдерживал. Четыре — это самое большее. Ну, что ж, вам осталось еще четыре.

Левченко посмотрел на два полотенца. Еще четыре минуты! Четыре мучительные минуты. Казалось, уже страшны не качели, а вот это ожидание, что тебя снова подвесят подмышки, у тебя снова набухнет голова, глаза ползут на лоб и по всему телу пройдет невыносимая боль.

— Я вас понимаю, — чуть покачиваясь, продолжал Иоганн Миллер. — Вам неприятно быть на качелях. Ну, тогда самое простое — проводите моих людей за линию, и только. Они вас отпустят, как говорят ваши мужики, с бегом, и никто не будет знать, что вы были тут. Решайте, — и он вышел.

И снова Левченко пытали. На качелях ему втыкали в плечи сапожные шила, затем быстро выдерживали, и кровь брызгала в потолок. Ему выкручивали руки, рвали ногти. Он молчал. Его били резновыми палками, били по спине, по почкам. Лев-

ченко молчал. Стиснув зубы, он смотрел только в одну сторону, — на окровавленные пальцы своих ног. Раз он вспомнил своего друга, младшего лейтенанта Ярцева, улыбнулся и снова, крепко стиснув зубы, стал смотреть на окровавленные пальцы своих ног.

На второй день Иоганн Миллер, выведенный из терпения молчанием Левченко, приказал:

— Если через три часа не заговорит, на опыте его! — и вышел.

Левченко вывели на улицу и привязали к тому же столбу, к которому был накануне привязан нагой красноармеец.

Но в это время из переулка выскочила группа людей, одетых в крестьянское платье, вооруженных винтовками, гранатами. Люди эти, их было всего четырнадцать человек, быстро развернулись. В соседний дом, где гремела музыка, полетели гранаты. Оттуда, из этого страшного дома, через окна стали прыгать немцы, и тут же на улице их подхватывали штыки.

Среди этих четырнадцати комиссар Левченко увидел младшего лейтенанта Ярцева.

ЕГОР ЯРЦЕВ

1

После боя за высоту Н., грохота артиллерии, взрывов мин, пулеметного назойливого треска и стонов наступило затишье. Солнце растопило первый пушистый снег, — тогда почему-то показалось, что вернулась весна, и всем стало радостно. А тут еще откуда-то прилетел голубь — сизый, дикий. Он сел на березу перед пушкой и стал поводить головой, словно рассматривая обстановку.

Голубы! Голубы! Это не то, что воронье. Воронья гут так много, и оно вызывает у всех такое отвратительное чувство, что каждому при виде этой чер-

ной, каркающей тучи, хочется немедленно уничтожить ее. А теперь прилетел голубь, сизый, дикий голубь, и этот дикий голубь вызвал у бойцов воспоминание о домашних, и они все кинулись писать родным письма, наперебой показывать друг другу фотографические карточки жен, возлюбленных, детей. На передовой линии, как только кончается бой, заводят разговор о родных, знакомых и главным образом о самых близких, самых дорогих — женах, детях. На-днях, например, Егору Ярцеву пришла из деревни Вилки открытка от жены Ольги. Ольга писала, что дома все благополучно, что в колхозе председательствует мать Егора, Екатерина Ярцева, что у Елены, подруги Ольги, родился сын. Егор Ярцев тогда же хотел ответить жене, но, во-первых, узнал, что деревня Вилки сейчас занята немцами, а, во-вторых, пришел приказ взять высоту Н., и он спрятал открытку в самое надежное место, чтобы потом, когда вернется в окопы, написать ответ.

...Он ушел к себе в блиндаж, сел за стол, достал бумагу, чернила и написал первое любимое слово «Ольга»... и письмо было прервано...

По всем окопам разнеслась тревожная весть — пропал комиссар Левченко. Это открыл Коля. Как обычно, он поднялся чуть свет, приготовил завтрак, разбудил майора и пошел будить комиссара. Но комиссара в блиндаже не оказалось.

— А я думал, что он ночует у майора, — удивленно развел руками адъютант.

И начались поиски.

Вчера поздно ночью комиссара Левченко видели около блиндажа младшего лейтенанта Егора Ярцева, затем его видели на стыке двух полков около Горькой балки, затем он разговаривал с дозорными на Черной речке, дальше следы его терялись, и тогда неожиданно всем пришла страшная мысль. Эту же мысль высказал и майор Шилов. Он сам, рискуя жизнью, под перекрестным огнем немецких авто-

матчиюк, или, как их тут зовут, «кукушек», прибыл на высоту Н. и, разыскав Егора Ярцева, сказал:

— Позор на вашей роте, — и ушел.

Ярцев сел на нары и запел русскую песенку о Ланцове. Он пел тихо, тоскливо, ни с кем не разговаривая, ни на один вопрос не отвечая. Бойцы видели, как у него через весь лоб легла резкая складка, а глаза стали какие-то неподвижные, смотрящие куда-то вдаль. Так он сидел, раскачиваясь, тихо напевая песенку о том, как Ланцов из замка задумал убежать. Песенку он тянул по-старинному, приложив руку к уху, как будто перед ним было еще несколько певцов, а лицо у него с каждой минутой чернело.

— Умрет он так: сердце у него замерзнет, — сказал Саша Крайнов, лихой боец и гармонист. — Его надо из себя вывести.

Все знали о большой любви Егора Ярцева к комиссару Левченко, все понимали, какая тяжесть легла на его сердце, все норовили помочь своему командиру и не знали как. Тогда Саша Крайнов кинулся в лес. И, тоже рискуя жизнью, пробираясь туда под перекрестным огнем автоматчиков, он нарвал зрелой калины и, войдя в блиндаж, положил золотистые ягоды перед Ярцевым.

— Твоя любимая... Тетерев еще здорово клюет это добро, — Саша громко засмеялся, предполагая, что Ярцев подхватит его смех, и тот сидел, все так же раскачиваясь, напевая про Ланцова. Тогда Саша обозлился и грубо крикнул: — Не сберегли друга-то!

Глаза Ярцева дрогнули. Чуть-чуть кривя губы, он посмотрел на Сашу:

— А помочь мне хочешь? Только гляди, это может лишить тебя молодой жизни твоей... Хочешь?

— Сократ умер за идею свою. Джордано Бруно сгорел на костре за идею свою. И многие, — ответил

Саша, радуясь тому, что командир роты, наконец, заговорил.

— Ишь ты,— удивленно протянул Ярцев.— Тогда пойдем.

И, отпросившись у майора Шилова, прихватив с собой пулеметчика Ураза Бузакарова, они в тот же вечер скрылись, а через два дня на село Отрадное был совершен дерзкий налет.

Немцы знали, что готовится налет. Разведка донесла им, что два дня тому назад три человека, переодетые в крестьянское платье, переправились через Черную речку, зашли в деревню Малые Озерки к крестьянину Иргизову. Он их прсезл в соседнюю деревню, там к ним присоединились шесть человек, затем они отправились дальше уже в числе четырнадцати. Узнав об этом, начальник разведки Иоганн Миллер дал такое приказание:

— Пусть собираются. Когда соберется их больше, тогда возьмем. По русскому обычаю: «Одним взмахом сто побивахом». Тем более, крестьянин Иргизов наш.

Но тут скоро свершилось такое, чего никак не ожидали: четырнадцать человек разгромили штаб-квартиру, выбили немцев и посадили на штык Иоганна Миллера. От такого неожиданного, дерзкого налета немцы сперва растерялись, а спустя час, придя в себя, послали солдат в погоню за Ярцевым. Было уже поздно: Ярцев со всей группой успел пройти через топкие болота и скрылся в густых лесах. Тогда немцы, зная, что обратный путь Ярцева лежит через деревню Малые Озерки, приказали Иргизову сделать все, о чем тот условился с Ярцевым, а на окраине деревни выставили пятнадцать всадников и пять собак-овчарок.

Всего этого Егор Ярцев не знал. Не знал он и о том, какую службу несет косоглазый, низкорослый и вертлявый мужичонка Иргизов.

Дерзкий налет на село Отрадное и то, что удалось живым выхватить «из лап палачей» комиссара полка Левченко, — это радовало Ярцева, придало ему смелости, и он повел своих людей через густые леса напрямик на деревню Малые Озерки. С Иваном Иргизовым Ярцев познакомился раньше. Несколько лет тому назад, когда еще был жив отец Ярцева, Иван Иргизов не раз заезжал к ним в деревню для сбора утильсырья. Отец про него говорил:

— Иван мужик хозяйственный, только душа у него мелкая: все норовит дешево урвать кусок белого пирога.

Странно было, конечно, то, что в деревне Малые Озерки первым встретил их именно этот Иван Иргизов и предложил провести в соседние деревни. Егор Ярцев, по-военному осторожный, искоса посмотрел на Ивана Иргизова, но то, что тот так охотно повел их в соседнюю деревню, охотно указал путь к группе партизан и сразу согласился вывесить белье на заборе своего двора, чтобы дать знать на обратном пути, что в деревне Малые Озерки все благополучно, и то, что он назвал его «дружком», — все это подкупило Егора Ярцева.

«Видно, душа его очистилась», — решил он и смело повел свой отряд на деревню Малые Озерки.

Он шел впереди, за ним двое — Саша Крайнов и Ураз Бузакаров — несли завернутого в немецкую шинель комиссара Левченко. А за ними шли партизаны. Иногда у Егора Ярцева снова возникало сомнение в честности Ивана Иргизова. Тогда он останавливал отряд и высылаю разведку. Разведка приходила с хорошими вестями, а последний раз пришла и сказала:

— На заборе Ивана Иргизова вывешено белье.

— Значит, идем, — радостно сказал Ярцев и уже представил себе, как они вернутся в свои окопы, как

вызовут майора Шилова, как Ярцев посмотрит майору в глаза и скажет: «Позор снимите с нас, товарищ майор». А сколько будет радости у всех бойцов! Больше ни о чем не думал Егор.

Так они шли.

Уже был поздний вечер. Уже над болотами поднялись едкие туманы и на озеро упали три запоздалые стаи диких уток и где-то далеко проревела корова.

По звуку Ярцев определил, что корова ревет по ту сторону немецких окопов, на «совсем нашей земле», значит, скоро и они будут у себя «дома» И вот они вышли на опушку леса и отсюда увидели развешанное белье на заборе Ивана Иргизова. Увидав белье, Егор Ярцев чуть не вскрикнул, как человек, долго сидевший в подвале и увидевший солнце. Но сдержался. Он подошел к Левченко и тихо сказал ему:

— Крепитесь, товарищ комиссар, скоро дома будем,— он еще что-то хотел было сказать комиссару, но к нему подбежал зоркий Ураз Бузакаров и, показывая рукой вперед, произнес:

— Товарищ командир, смотрите, за забором кони. Видите головы и уши?

Они всмотрелись и в самом деле увидели: за высоким плетнем стояли лошади.

— Назад! —скомандовал Ярцев и заскрипел зубами.— А-а-а. Мы до него доберемся, до дружка. Передать комиссара партизанам,—скомандовал он.— Бузакаров, Крайнов, ко мне.— И он сам первый упал на колени, выставив по направлению к забору свой автомат.

Рядом с ним упали Крайнов и Ураз Бузакаров, и, как только партизаны скрылись в лесу, Ярцев крикнул:

— Огоны!

Кони вздыбились и рванулись с храпом, с визгом. В ту же секунду откуда-то справа раздалась беспло-

рядочная, оголтелая, как на фронте говорят, в божий воздух, стрельба немецких автоматчиков. По этой беспорядочной стрельбе Ярцев определил, что немцы не ждали нападения, что они сами намеревались заманить его в ловушку. Ого! Вон как носятся по лесу кони. Вон как за конями бегают солдаты. Теперь бы их из пулемета. Ярцев встал во весь свой богатырский рост, намереваясь пробиться ближе к лесной опушке, чтобы оттуда расстреливать бегущих за конями немецких солдат, как его дернул за рукав Ураз Бузакаров и сказал:

— Собака. Овчарка.

По тропе, низко опустив голову, как это делает волк, преследующий свою добычу, неслась крупная собака-овчарка. Она неслась стрелой, минуя Ярцева, Ураза Бузакарова и Сашу Крайнова. Она неслась туда, куда ушли партизаны. Ураз Бузакаров вскинул было винтовку, но Ярцев остановил его:

— Я. Я охотник. Я так снимал зайца, — и, приложившись, выстрелил.

Овчарка несколько раз перекувыркнулась через голову и плашмя упала на тропу.

— Есть, — торжествующе сказал Ярцев.

Но в этот миг следом за первой овчаркой понеслась вторая. И вторую снял Егор Ярцев. Но когда из деревни вырвалась третья собака, он шепнул Уразу Бузакарову:

— Беги за нашими и предупреди. Собаки страшнее немцев. И еще скажи, чтобы пробивались через деревню Люшкино.

Ураз Бузакаров со всех ног кинулся в лес догонять партизан, а Саша — это он сделал напрасно — быстрее кошки забрался на сосну и оттуда хотел было пустить очередь по немцам; но тут же был сражен пулей. Он упал на землю, как падает убитый глухарь, — с тяжелым шумом.

— Саша! — вскрикнул Ярцев и кинулся к нему, и одновременно заметил, как мимо них по тропе промчалась четвертая и пятая собаки. Через какую-то секунду раздались один за другим два выстрела, и Ярцев понял, что это стреляет Ураз Бузакаров. — Саша! Саша! — бормотал он, кладя себе на колени его голову. — Саша!

Тело бойца отяжелело, голова свалилась. Из уголка рта появилась струйка крови, кровь потекла с подбородка на шею, на ворот куртки.

— Саша. — еще раз позвал Егор Ярцев и затормозил его, как это делают, когда хотят пробудить человека от глубокого сна. И, видя, что этим не поможешь, Егор Ярцев заплакал.

3

Было уже совсем темно. Смолкли выстрелы. В деревне вдруг заговорили немцы. — как всегда, громко. Кто-то на кого-то кричал. Крик стал приближаться, и Ярцев понял, что немцы направляются к сосне. Он подхватил на руки мертвого Сашу и понес в лес, пробиваясь сквозь густой, темный, перепутанный кустарник. Тело Саши показалось очень тяжелым, и Ярцев подумал:

«Как тяжелеет человек... мертвый».

Вскоре он споткнулся о сваленное дерево и рукой нащупал скат в овраг. Он спустился туда, быстро, маленькой саперной лопаточкой, которую он всегда носил с собой, вырыл яму, положил в нее Сашу и закидал его землей.

Голоса немцев приближались.

И Егор Ярцев пошел, сам не зная куда, понимая, что он теперь не отыщет той тропы, по которой ушли партизаны, что ему вообще теперь надо куда-нибудь уйти от немцев. И он шел, лез через бурелом,

пробирался через лесные балки и только, когда вышел на просеку, вдруг вспомнил, что искалеченный пулей автомат свой он оставил около сосны. Ему стало страшно, как было однажды, еще во времена детских лет, когда он отбилсЯ от взрослых и затерялся в лесу. Тогда он взобрался на дерево, привязал себя веревкой и два дня просидел так, тихо-тихо, боясь шумом привлечь зверя. Теперь ему было так же страшно без оружия. При нем оставался наган, но в нем всего пять пуль. И он двинулся дальше, осторожно ступая по земле, пугаясь скрипа сучьев, дуновения ветра. Он шел, как ему казалось, в одну сторону, но когда натолкнулся на свалеиную сосну, понял, что кружит на одном месте, как подстреленный заяц, и обозлился на себя, на свою растерянность.

— А еще охотник, все из башки у тебя вылетело. Вспомни-ка, как отыскивал дорогу бывало! Ну! Определи, где юг, где север. А ну-ка, — он даже прикрикнул на себя, и склонился около густой ели, кашупывая на ней слой мха. Он знал, что мох растет только на северной стороне. Нащупав его, он определил север, понял, куда надо итти, и смело зашагал в одном направлении — к своей деревне Вилки, которая находилась всего в пятнадцати километрах от деревни Малые Озерки.

Он смело выбрался из леса в поле и тут остановился. Совсем недалеко от него, может быть, в десяти километрах, пылало зарево. По всему было видно, что это горела деревня — широкое зарево лизало небо, выбрасывая густые клубы дыма; дым был, как от соломы, — значит, горят крыши хат.

— Неужели наша деревня? — подумал он и прибавил шаг.

Но за лесом уже дрогнула заря. Итти было опасно, и он решил переждать день в стог сена. Забравшись в стог, он согрелся и крепко уснул.

Проснувшись он от русского говора. Осторожно отгреб сено, выглянул.

По дороге из леса шли человек тридцать. У каждого за поясом торчал топор. Двое несли пилы. Неопытный глаз решил бы, что это лесорубы. Но у Егора Ярцева глаз был опытный, и он увидел, что пилы не завернуты, а у лесорубов правило — острие пилы завертывать в мешок или в паклю. И ни у одного лесоруба за плечами не было вещевого мешка.

— Эге. Да ведь это... — прошептал Ярцев и высунулся из стога. Он увидел среди «лесорубов» агронома Любина. — Любин! Степан Егорович! — позвал он и сам пошел к Любину, который при виде Ярцева так растерялся, что не мог вымолвить и слова.

— Здравствуйте, товарищ агроном, — сказал Ярцев и посмотрел на остальных; узнав в них своих односельчан, он подмигнул им: — Ну-у. За мирный труд взялись? — И тут же спросил агронома: — А мать где?

— Мать? Екатерина Петровна? — Любин глубоко вздохнул и, показывая вдаль, на угасающее зарево, сказал: — Видишь? Это наша деревня Вилки.

— А мать? Мать где? Ольга где?

Агроном Любин долго молчал. Молчали и остальные, низко опустив головы.

— Где мать? — Егор Ярцев рванул Любина.

Тогда агроном вынул из-за пояса соседа топор, ногтем попробовал лезвие и, подавая топор Егору Ярцеву, сказал:

— Вот тебе, бери, Егор.

Все было понятно. Ярцев долго стоял, прислонившись к сырому, в росе, стогу, и снова глаза у него застыли. Устремившись куда-то вдаль, Любин тронул его за плечо:

— Ольга осталась, а за мать мстить надо, Егор.

Ярцев поморщился и повернулся к агроному:

— В Малые Озерки сегодня ночью заглянуть надо... Дружка одного вызвать. Ух, и дружок. А потом пойдем, разыщем наших. Комиссар Левченко там.

И они ушли. Они забрались в чащу леса, переспали там тревожным сном и вечером, оставив почти всех на месте, втроем направились в деревню Малые Озерки.

— Вот в этой избе живет Иван Иргизов. Вы же, товарищ агроном, по-немецки умеете балакать. Забыли? Ничего. Тон дайте. А ты,— обратился Егор Ярцев ко второму попутчику, делопроизводителю колхоза Борисову.— вроде переводчика будешь. Преводи, что этот господин: немец,— показал он на агронома,— желает пробраться к партизанам, потому и переделался в крестьянское. Вызовете дружка моего на улицу да к речке его.

Борисов подошел к избе, тихо стукнул. Открылось окно. Выглянула баба. Громко выругалась.

— И чего лезете ночью? Мой спит.

Любин что-то забормотал, подражая немецкому выговору. Борисов перевел:

— Господин Вольф хочет видеть Ивана. Партизаны ему нужны. И я тут не причем: самого силой...

Баба заворчала было, но Иван Иргизов уже был на крыльце и увверенно говорил на ходу:

— Могу. Дорога к ним мне известная... Я ведь... я всдь, ах, я ведь такой, я налету птицу поймаю,— начал хвастаться он.— Я служу. Вчера пришел один и говорит, проводи меня в село Отрадное...

Иван Иргизов бормстал, шагая впереди вссх, но у Черной речки, там, где переправа на другой берег, он, точно окаменев, замер: перед ним стоял, держа в руке топор, Егор Ярцев.

УБИЙСТВО ЕКАТЕРИНЫ

1

Ее знали все и не только у себя в деревне Вилки, но и в районе. Она была женщина рослая, румяно-

щкая, сильная, и, главное, у нее был живой, восприимчивый ум и чистое, благородное сердце: Екатерина никогда и ни перед кем не кривила душой.

— Екатерина у нас богатырь-баба.— говорили о ней,— на работе в поле — первая, да уж если на собрании сказать надо, скажет так, что и деваться некуда.

— Огонь-баба.

И верно, когда она выступала, то голос ее гремел, и тогда уже берегись тот, кто вильнул: застыдит любого, будь то рядовой колхозник или представитель власти.

Вот почему иногда местный агроном Любин, человек весьма тихий, отзывал ее в сторонку и шопотом говорил:

— Екатерина Петровна! Талант у вас большой! Вы от земли человек, и мозг у вас, как прекрасный черnozем: рассевай на нем — плоды будут. Но... — и переходил на «ты», — но чего ты гремишь всегда и вперед везде лезешь? Что тебе больше всех надо?

— Больше,— отвечала Екатерина.— У меня три сына и четыре дочери.

— Ну, гляди,— бурчал агроном и, чуть согнувшись, уходил от нее прочь, а она кидала ему вслед:

— Правда всегда себе дорогу пробьет! Это запомни, товарищ агроном!

И когда многие из мужчин, в том числе и три сына Екатерины, были призваны в армию, то председатель колхоза (он тоже призывался), с согласия всех колхозников, торжественно заявил:

— Тебе по всем правам председателем быть. Держи крепко знамя это. Екатерина Петровна!

С того часа Екатерина вела колхоз.

— Тоже... выбрали,— сказал агроном Любин,— ей бы детей рожать!

— Тоже... агроном,— так же шутливо говорила про него Екатерина.— Ему бы на балалайке играть.

Но когда выходили на работу, они невольно тянулись друг к другу. Любин не умел говорить с колхозниками. Екатерина не знала того, что знал агроном Любин, и поэтому всегда советовала колхозникам:

— Не глядите, что у него рученьки девичьи. Голова ученая: он в поле колдун полный, и его слушайте.

В одно ненастное утро в деревню Вилки ворвались немцы. Войска прошли вправо, оставив в деревне сорок солдат и одного господина Кляуса. Этот самый Карл Кляус, постукивая плеткой по своей жирной икре, обошел хозяйство колхоза, долго всматривался в поля, а затем, прищелкнув языком, что-то сказал переводчику — соренькому, вихрастому и юркому Нейману. Нейман заюлил перед Кляусом и, повернувшись к Екатерине, которая только что вышла из амбара, крикнул:

— Господину Карлу Кляусу все это — поля, леса, река — все очень нравится. Э!

— Еще бы!..

— Ему, знаете ли, обещали двести гектар земли с рабочими, то-есть с русскими, зарабатывать будете.

— Ну, что ж, обещанного долго ждут,— Екатерина усмехнулась.

— Да, да. Ему это все очень нравится,— выкрикивал Нейман.

Екатерина молча пошла на деревню. Сердце больно сжалось, казалось, оно истекает кровью. Дойдя до правления колхоза, она присела на бревно и тихо проговорила:

— Вон какому мерзавцу достанутся труды наши,— и тут же, расправив плечи, пошла по порядку, стуча

в окна, вызывая хозяев, передавая им: на работу не выходить.

Вечером всех жителей деревни Вилки согнали к правлению колхоза. Их окружили вооруженные солдаты. На крыльцо вышел все тот же щеголеватый Кляус, а с ним переводчик Нейман. Карл Кляус долго смотрел на колхозников, улыбаясь, затем развел руками и что-то сказал Нейману. Тот быстро заговорил:

— Господин Карл Кляус очень опечален, что не знает вашего родного языка. Он вас всех очень любит и любить будет. Но надо работать. Надо хлеб молотить, ссыпать в амбар.

Колхозники молча опустили глаза. И в этом молчании, как набат, прогремел голос Екатерины:

— Да, любит, как всак овечек! Но мы-то не овечки!

Нейман перевел слова Екатерины. Тогда Кляус вздрогнул, лицо побагровело. Затем он деланно улыбнулся и что-то приказал солдатам. Те немедленно вскинули ружья, со двора выкатили пулемет. Агроном Любин, чтобы отвести угрозу, выкрикнул:

— Хлеб? Конечно, хлеб молотить надо. Кто откажется от этого? И даже Екатерина Петровна...

Кляус махнул плеткой. Солдаты опустили ружья, пулемет укатили во двор. А Кляус, еле прикасаясь ладонью к ладони, зааплодировал, одобрительно кивая агроному Любину. И в этот миг агроному Любину стало так погано, словно он ударил ребенка.

Но утром на работу все равно никто не вышел. Еще вечером, когда расходились с собрания, Екатерина подошла к агроному и, раскачиваясь, будто намереваясь ударить его в лицо, сказала:

— Плюнуть тебе в зенки? Мало. Кисляк!

— Катя! Катюша! — агроном тронул ее за сильные плечи, и было видно, как руки у него дрожали. — Да ты что, хочешь, чтобы они дуrom нас на штык подняли? Надо думать, как выкрутиться. Что делать? Приказывай!

— Жечь! Хлеб в стогах жечь! Ты не пойдешь жечь, они пойдут, — показала Екатерина на народ. — Они не пойдут, девки мои пойдут. Девки не пойдут, сама пойду и хлеб сожгу.

С ней согласились все.

Карл Кляус понял, что все зависит от Екатерины, и вечером направился к ней, все так же улыбаясь, в полной уверенности, что ему легко удастся сломить эту «непокорную даму».

Екатерина не удивилась такому визиту: она ждала его и поэтому еще вчера сказала своим дочкам, чтобы они спрятались в лесу. И она встретила Кляуса, готовая на все.

Переводчик Нейман сказал:

— Карл Кляус просит хлеб молотить.

— Мы сами знаем, что нам надо делать с нашим хлебом, — ответила она.

Кляус рассвирепел от таких слов. И Нейман снова перевел:

— Господин Карл Кляус сказал, что земля вашей деревни, поля, леса, хлеб в стогах, в амбаре, скот и все, все принадлежит ему: ему все это подарил фюрер Гитлер.

— Пусть он сам сначала посеет, заработает, а потом дарит, — ответила Екатерина и отвернулась к окну.

Кляус нервно похлопал плеткой по своей жирной икре, затем неожиданно размахнулся и няотмашь ударил по лицу Екатерины. Из щеки брызнула кровь. Кляус выскочил из хаты и на улице кркнула переводчику:

— Подчинить! Не убивать, а подчинить! Подчинить, а потом убить.

И через какой-нибудь час к Екатерине снова пришел Нейман в сопровождении двух солдат. Он положил на стол лист бумаги, сказал грубо:

— Эй! Ты! Заноза. Подпиши. Больше от тебя ничего не требуется.

Екатерина прочла. На листе бумаги было написано распоряжение колхозникам, чтобы они выходили на работу.

— Не я писала грамоту, не я и подпишу.

— Тогда плохо будет. Будет стыдно тебе.

— Почему же мне стыдно?

— Ты мать, и я знаю, у тебя есть дочки.

Екатерина тихо ахнула, присела на табуретку и, с тоской глядя в окно, подумала: «Успели ли они сбежать, мои девочки?»

— Подпиши и всё,— Нейман пододвинул ей бумагу.

Екатерина взяла бумагу и снова глянула в окно, думая все о том же. Ах, если бы они сбежали, как она расправилась бы с этим человечешкой.

Нейман видел, что творится с Екатериной, и стал еще более нахален. Он подошел к Екатерине, похлопал ее своей вялой рукой по плечу.

— Э-э-э! Что тебе какой-то там хлеб в стогах? Дочки дороже всего на свете: ты мать. Я ведь тоже отец, и для меня дороже всего на свете дети мои. Вот как. Подпишись. Не то дочки твои перестанут уважать тебя.

У Екатерины закипело сердце:

— Наши дочки научились уважать честных людей и презирать трусов, особенно вот такую дрянь, как ты,— и, скомкав лист бумаги, она кинула его в лицо Нейману.

— А-а-а! Сумасшедшая! Раздеть ее! — крикнул он солдатам.— Раздеть и выгнать на улицу.

Солдаты были, очевидно, опытные: несмотря на то, что он крикнул им это на русском языке, они кинулись на Екатерину и сорвали с нее одежду. Они хватали ее грязными лапами, они выворачивали ей руки, они щипали ее, били ее кулаками под лопатки. А когда волна густых волос с головы упала на обнаженную спину, Нейман поджег их.

— Как судака, изжарю,— крикнул Нейман.

Екатерина, крепко сцепив зубы, молчала.

Ночью вдруг на деревне раздался душераздирающий крик. Крик этот вырвался из хаты Екатерины. Он пронесся в морозной ночи вдоль порядка, поднял на ноги встревоженных людей. Люди выбежали из хат, прислушивались к крикам Екатерины, грозя кулаками, тихо произносили:

— Истязают. Екатерину истязают. Ах, ты-ы!

Безо всякой команды, в тот час, когда крики Екатерины уже умолкли, деревня бесшумно поднялась—женщины, мужчины, старики, дети,— и все скрылись в лесу.

Туда, в густой лес, на заре агроном Любин и дело-производитель Борисов принесли, закутанную в одеяло, мертвую Екатерину. Она была убита штыком в живот. Волосы на голове были спалены, а на правой щеке зиял шрам от удара плеткой.

Тут под березками вырыли ей могилу.

Кто-то сколотил гроб. В гроб Екатерину положили молча, без слез: молча, без слез, опустили гроб в могилу и засыпали землей.

Агроном хотел было сказать что-то большое, чтобы каждого проняло до глубины души, но, глянув на людей, понял, что им много говорить не надо, и произнес только несколько слов:

— Убили! Какой кровью расплатятся они?!

После этого все, взяв каждый щепотку земли с могилы Екатерины, тронулись через густые леса, через болота туда, к своим братьям, сестрам, сыновьям...

Выглянуло солнце. Растопило золотистые, замерзшие сережки на березах. С сережек начали падать капли, и, казалось, березки плачут над могилой Екатерины.

А в ночь в деревню Вилки ворвались, во главе с агрономом Любиным, партизаны, вооруженные острыми топорами, и вырубили немцев. Затем со всех концов подожгли деревню и скрылись.

ЧЕЛОВЕК НА ГОЛОЙ ЗЕМЛЕ

1

Фронт дрогнул, — немцы покатались, бросая вооружение и опустошенную землю. Обычно немцы очень крепко держались за деревушки, города, высоты, а тут покатались неудержимой лавиной. Вскоре знаменитая высота Н., которая в течение тридцати шести дней не раз переходила из рук в руки, осталась позади. Когда высота окончательно была взята, в одном окопе мы нашли на стенке надпись на ломаном русском языке: «Товарищи. Бейте в морду Гитлера и его банду». По этой надписи все догадались, что передовые, оголтелые отряды Гитлера уничтожены, что из тыла он вызвал тех, на кого не совсем надеялся. Улыбнулись и пошли преследовать врага, забирая у него наши поля, наши леса, наши дере-

веньки, города, — и города, деревеньки, поля, леса, до этого сумрачные, затаенные, вдруг стали радостными, близкими.

Майор Шилов сегодня решил проехаться вдоль линии, побывать в полках, дивизии, повидаться со своими фронтовыми друзьями.

— Я только возьму с собой Ураза Бузакарова. Люблю этого юношу, — сказал он.

— Почему он стал такой молчаливый, Ураз?

— Тоскует. С того дня, как потерял Егора Ярцева. Удивительный парень: открытый, бесхитростный.

— Кстати, есть ли у вас сведения о Егоре Ярцеве и Левченко?

Майор развел руками:

— Знаю, что по ту сторону орудует отряд партизан. Судя по лихим налетам и некоторым сведениям, этим отрядом руководят такие люди, как Ярцев и Левченко. Может быть, и они. Но это только моя догадка. Я думаю, ведь если бы они были живы, то, ваверное, как-то дали бы нам знать о себе.

В машине Ураз Бузакаров сидел рядом с майором. Ураз был мрачен, все время тревожно оглядывался по сторонам, а когда подъехали к Черной речке, он чуть привстал и проговорил:

— Вот тут... вот тут, товарищ майор, мы тогда переходили с товарищем Ярцевым. Тогда на речке еще не было льда и мы ее переплыли. Ух! Вода была холодная, очень холодная: она нас жгла, как огонь. Вот тут...

Майор повернулея к нему я, положив руку ему на колено, тихо сказал:

— Ураз. Найдется ваш друг. И не думайте о нас плохо: мы все верим вам и знаем, если бы потребовалось умереть за Ярцева, вы умерли бы. Знаем.

Ураз пристально посмотрел в глаза майора и тоже тихо произнес:

— Я не покидал его. Он приказал мне догнать партизан, которые на руках несли комиссара Левченко. Он сказал мне, чтобы я предупредил о собаках. Немцы выпустили на них собак-овчарок. Они такие... как волки. Я кинулся вслед за партизанами и тут увидел, как по тропе несутся две собаки. Я вскинул винтовку и одну за другой уложил их. Потом я догнал партизан. Я им сказал все, что было мне приказано. Затем я подошел к комиссару Левченко и простился с ним. Простился и кинулся обратно... и уже не нашел товарища Ярцева.

Он еще долго рассказывал нам о том, как переправился через линию фронта, и по всему было видно, какая-то дума запала на сердце Ураза Бузакарова: он боялся, что ему не верят, и это мучило его, — но больше мучило другое — то, что он потерял своего друга.

— Ничего. Вы не обижайте нас: мы вам верим, Ураз, — сказал майор.

Тогда Ураз протянул руку и тут же отнял ее, видимо, во-время вспомнив, что он рядовой боец, а Шилов командир полка. Но Шилов улыбнулся и сам протянул руку.

— Будь здоров, Ураз, — сказал он.

2

Ветер зыбкий, злой носится по изуродованным, чуть-чуть покрытым белесым снегом, полям. Поля изуродованы взрывами снарядов, мин, окопами, ногами, противотанковыми рвами, воронками от фугасных бомб.

На пригорке село. Березы обуглились, стали черные. Села, собственно, нет, торчат только остатки полуразрушенных труб, да на одной обугленной березе висит лемех от старого плуга. Это было. Оно каждое утро возвещало жителей села, что взрослым

пора за работу, малышам — в школу. А вечером гу-дело оно и звало людей на покой. Вот и все, что осталось от села... и носится по этим опустошенным, разрушенным местам злой, зябкий ветер и скрипит обугленная береза.

Шилов со спутниками идет улицей, если все это еще можно назвать улицей. По обе стороны груды развалин, под ногами то-и-дело попадаются осколки снарядов, гильзы, поломанные колеса, помятые немецкие каски... а вон, чуть в стороне — в овраге, длинный ряд крестов. Почти на каждом кресте, как голова, торчат почерневшие, помятые, пробитые пулями немецкие каски.

Майор Шилов стоит на бугорке. Ветер рвет на нем серую шинель. Шилов смотрит на разрушенное село, на изуродованные поля, на овраг, усеянный крестами, на прокопченные березы.

Майор что-то хотел сказать, но в ту секунду из щели показалась голова человека и мгновенно скрылась. Он только и успел заметить, как страхом блеснули глаза. А то, что лицо все заросло спутанными волосами, что на голове у человека какая-то самодельная шапка — не то из мешка, не то из брезента, — это рассмотрел уже потом.

— Кто там? — спросил Ураз и собою загополма выход из щели.

Ответа не было.

Ураз взялся за гранату.

Засвистел ветер и заскрипела обугленная береза — жалостно и тоскливо.

— Кто там? — наклонясь, крикнул Ураз.

И вот из щели послышался глухой, приглушенный детский писк, затем снова появилась голова, и только тут стало видно, что лицо у человека испещрено морщинами и один глаз косит. Человек отвел руку

с гранатой Ураза и весь придавленный, приоткрытый стоял перед ними, растерянно открыв рот, и вдруг закричал, хлопая себя ладонями по тощим бокам:

— На... На... наши! Э-э-э! Наш-и! — и, повернувшись, еще громче крикнул в сторону пепелищ: — Наш-и-и-и! — Уже не зная, что делать, он прыгал около нас, ощупывал нас и, захлебываясь, радостно твердил: — А я думал те... А это наши... На-а-аши-и-и! Эка! Наш-и-и!

— Да вы-то кто? — прервал его Ураз.

— Я-то? Да я-то ведь это... хозяин двора, — он показал рукой на пепелище и снова как-то весь погас, протянув еле слышно: — Двора!? Вот те и двора. Ни кола, ни двора... Вот те двора... Да-а-а, — и человек закутался в полы драного пиджачка, весь дрожа от пронизывающего ветра и волнения. — У меня ведь это... тоже сын, Пшенцов. Рифметик был. Бывало, как что, все село к нему — считай, Вася. Он раз, раз и готово. Маленький это когда был. А потом вон, где учит людей, — в Москве. Вон где. Профессор. Сын-то у меня... Советская власть ему путь-дорогу открыла — вот кто. А тут пришли: «Меняй советскую власть на немецкую сласть». Как же? Сласть. Вот она сласть, — с остервенением он ткнул рукой в пепелище. — Жили мы. Строили. Горбом своим строили, а они пришли и сожгли. Вот те и «немецкая сласть».

Майор Шилов шагнул к нему и, сжав его в своих объятиях, крепко поцеловал. Затем отвернулся, сказал:

— Ветер какой, — и украдкой смахнул слезы.

Пшенцов некоторое время стоял, недоуменно глядя на Шилова, и весь вдруг расцвел:

— Целуется. Вот — на! Целуется. Экий. А-а-а! Да это ты за что меня?

Шилов рассказал, что он знает сына Пшенцова, математика, профессора. Он умолчал только о том,

что несколько месяцев назад, во время боя за высоту Н., политрук Пшенцов был ранен и скончался. Об этом Шилов не сказал, а просто еще раз подошел к отцу Пшенцова, обнял его и снова поцеловал.

Пшенцов, очевидно, что-то почувствовал. Он долго смотрел на Шилова и тихо произнес:

— Письма что-то давно от него нет. Впрочем, мы ведь под немчушкой были два с лишком месяца... Может, письмо где и есть. А вы вот что, чего на холоду-то? Идемте-ка ко мне в хату,— и тут же спохватился.— В хату? Хаты-то и нет... А там — темно,— показал он на щель.— Мы, вроде, люди на голой земле. Вот ведь чего. Да ничего. Прогоним зверя и опять — давай только. Построим.

Пока шла беседа, откуда-то со стороны стали собираться люди. Они подходили робко но как только увидели, что приезжие не чужие, так сразу глаза у всех засияли и кто-то со вздохом произнес:

— Наконец-то! Наконец-то, наши пришли. И-и-и! Тут-то чего творилось без вас.

— Курятину любили, ух, как. Как курицу увидит, так цап ее, и в котелок, водки достанут и лопают.— Пшенцов распахнул полы пиджачишка, как будто ему стало очень тепло, и шагнул к щели.— Да ничего. Духом не падаем,— это и есть наш главный козырь. Живем! Одна курица на все село уцелела, а мы живем! Петька!— крикнул он в щель.— А ну-ка, покажи красавицу нашу. Ну-ка!

Из щели выбрался мальчик лет шести-семи, тоже весь оборванный, с перепуганными глазами. Он держал в руках пеструю курочку. На шее у курочки голубенькая ленточка, такие же ленточки на ногах. Мальчик еще не успел подойти к нам, как его окружили владельцы сожженных хат, и курочка пошла по рукам. Ее гладили, ее называли самыми ласковыми именами.

А Пшеницов, весело улыбаясь, рассказывал:

— Вот ведь какая разумная. Спаслась. Чуть свет — в поле бегала, а как вечер, так ко мне в щель. Соображает: дескать, в руки немцу не попадайся — сожрет. Одна на все село спаслась. На развод нам. У-ух-ты-ы, умница, — и он погладил курочку.

И люди снова принялись называть курочку самыми ласковыми именами. Только одна женщина, заложив ладони подмышки, стояла в стороне. По виду ей было лет двадцать пять. Густые ее брови были чуть сдвинуты, а из-под них смотрели большие карие, тоскующие глаза. На щеках играл густой румянец, такой густой, что, казалось, вот он задыт все лицо. Да и ото всей ее фигуры веяло чем-то хорошим, материнским.

Она подошла к майору Шилову, заулыбалась, и лицо ее стало ласковым, притягательным, простым.

— Смотрю на вас и признаю, вроде вы товарищ Шилов?

— Он, — ответил Шилов. — Он.

Тут все повернулись к Шилову.

Женщина протянула ему руку, сильно встряхнула ее:

— Спасибо вам хотим сказать... Я еще хочу спросить вас, где Егор-то? Ну, Ярцев Егор?

Ураз Бузакаров кинулся к ней и закричал:

— Ольга? Да? Ольга? Да? Егорка милка? Да?

— Жена, — ласково ответила Ольга. — Милкой была, когда в девках гуляла. А теперь — жена. Что ты?

Майор Шилов отвел ее в сторону и несколько минут о чем-то говорил с ней.

Затем гости простились со всеми, сели в машину и поехали... И еще долго, долго с пути видели они погорелое село, обугленные березы, полураздетых, озябших людей.

— В окоп. Домой, — сказал майор Шилов. — Мстить надо.

ЖИЗНЬ

1

Гурьев — это пески, это — высокие, до черноты, зеленые травы, это широченные просторы, глазом не окинешь. И пасутся среди жирных трав скакуны — башкирской, калмыцкой породы, и ходят тучные стада коров.

Оттуда, из-под Гурьева, пришел золотоглазый чуть-чуть раскосый Ураз Бузакаров, рожденный в восемнадцатом году. Он еще очень плохо говорил по-русски, но у него был пытливый ум, неиссякаемая энергия и страшная жажда победить.

Когда ему только что стукнуло семь лет, отец, по обычаю прадедов, вскинул его на неоседланного коня, подхлестнул коня и пустил в степь. Конь сорвался с места, как бешеный, и помчался по песчаным дюнам разрезая высокие травы, стремясь сбросить со своей спины неопытного ездока. Но Ураз, как клещ вцепился коню в гриву и держался до той поры, пока конь не примчался в табун столь же быстроногих скакунов. Тут пастух снял Ураза с коня, сказал:

— Крепкий будешь. Настоящий мужчина.

Вот такой он — крепкий, настоящий мужчина — и пришел в полк майора Шилова. Ураз попросился, чтобы его допустили до пулемета.

— Степь наша дает нам хороший глаз, — сказал он. — Очень хороший глаз. Вы видите, что делается там на далекой поляне? Нет? Не видите? А я вижу. Степь учит глаз далеко видеть.

Ескоре он хорошо усвоил русский язык. Когда он шел с занятий или в свободное время выходил на опушку леса, чтобы из-за нее посмотреть вдаль, его обязательно окликали:

— Ураз. Заходи к нам. Расскажи что-нибудь или песню спой.

И он рассказывал про море, про песчаные бури, про то, как надо ловить рыбу, как обучать коня, или пел свои песни — унылые и трогательные. Однажды он рассказал, как сломалась его мечта. Он учился. Окончил десятилетку и думал поступить в астраханский Рыбный институт.

— Я люблю ловить рыбу. Не удочками Нет. А неводом. О-о! Закинем невод, и целые косяки, пять-десять тысяч пудов рыбы! О-о! Рыба в неводе, как каша: бросишь палку, палка торчит, не тонет. А какую мы пели песню! Слов немного, совсем мало: «Ну-ка наша, наша зй». Все слова Толькс каждый поет в свой такт. Один поет «Ну-ка», другой — «наша», третий — «зй». И получается, как море Каспий! Это такое море. Такого моря больше на земле нет.

— Ну да, нет, — возразили ему.

— Нет. Такого больше в мире нет. Оно очень красивое, когда тихо... оно ласковое, особенно, когда солнце садится за воду. Но когда буря — тогда держись, разбрасает по косточкам. Вот какое море!

Ураз Бузакаров в боях был уже несколько раз ранен, но никогда не покидал свой пулемет. Совсем недавно во время боя он был ранен в ногу. К нему подбежал сосед пулеметчик и сказал:

— Ураз, давай я тебе сниму сапог.

— Если ты будешь снимать мне сапог, твой пулемет останется сиротой, — ответила Ураз. — Нет, ты строчи, а я отползу в лесочек и там сам сниму сапог.

Вечером после боя к нему зашли его товарищи. Ему принесли вареной баранины — любимое блюдо. Ураза хвалили за выдержку, за храбрость, но он сказал самое простое:

— Что ж, родину защищал, себя защищал. Я не хочу умирать, родина не хочет умирать, и я буду драться.

Но самый сильный бой был сегодня.

Сегодня чуть свет немцы, укрепившись в селе Большое Дно, прикрывая собой отступающие части, неожиданно пошли в атаку. То ли им разведка донесла, что в полку у майора Шилова не так-то много живой силы, то ли им было приказано «маневрировать», только в самую рань из-за села послышался гул и безалаберная стрельба автоматчиков. Вскоре майору Шилову стало известно, что враг ринулся не справа, откуда слышался гул, а слева, где было совсем тихо. Враг обманывал, перехватив прием у Шилова.

Шилов улыбнулся и послал на шум Урза Бузакарова и его приятеля с двумя пулеметами.

Получив приказ, Ураз занял место около опушки, и, несмотря на то, что было еще почти темно, он своим зорким степным глазом рассмотрел шумливого врага и открыл по нем пулеметный огонь. И немцы смолкли. Но вскоре по той самой опушке, где засели Ураз Бузакаров и его приятель, немцы открыли яростный минометный огонь. Огонь сносил деревья, рвал их с корнем, земля вздымалась и сыпалась на пулеметчиков, как из вулкана. Было желание — страшное, непреодолимое желание перебежать с пулеметами на другое место, хотя бы вон туда, к канаве, где было тихо и где — это тоже было еле заметно — ветер колыхал поседевший от иней кустарник.

— Приказ, — сказал Бузакаров. — Приказ командира надо выполнять точно. Не то мы можем спасти себя, но погубим товарищей своих. За выполнение приказа пускай огонь минометов растерзает меня, но я не двинусь с места, — и снова пустил очередь по неви-

димому врагу, угадывая по слуху, что враг вон там — впереди за канавой.

И вдруг Ураз Бузакаров увидел, как слева от него, перебираясь через овраг, срастаясь с землей, с поседевшими травами, поползли люди. По каскам в темноте было трудно разобрать, кто это — наши или враги. Но у Ураза Бузакарова глаз острый, и он крикнул своему приятелю:

— Огонь!

И в эту же секунду оттуда, от оврага, послышались голоса:

— Свои! Свои! Не стреляйте!

— В самом деле, своих перебеешь, — предупредил Ураза приятель.

— Огонь! — яростно закричал Ураз и пустил очередь из своего пулемета.

Тогда те, кто полз от оврага, вскочили и с криком «ура» кинулись вперед. Но у Ураза Бузакарова не только зоркий глаз, но и острое ухо. По звукам он определил, что это «ура» кричат немцы.

— Они кричат «ура», — сказал он своему приятелю, — так давай заставим их кричать «караул», — и тогда два пулемета начали косить врага.

Враги дрогнули, побежали, вскидывая руки, бросая винтовки, а два пулемета косили их, кидая на землю.

— Ого! Давай! Давай! Давай, голубчик, — одобритительно засмеялся Ураз и тут же увидел, как совсем недалеко от него разорвалась мина. — По нас. Пристрелялись, — и Ураз хотел было откатить свой пулемет, но не успел: рядом с ним разорвалась одна мина, потом вторая... и вот шквал земли оторвал его от пулемета, бросил в сторону. Ураз почувствовал, как в глазах у него позеленело, руки вцепились в землю — в поседевшие замерзшие травы, а губы сами собой с жадностью начали хватать снег.

Вечером Ураз лежал в госпитале. Он был ранен осколком в спину, в позвонок. За ним ухаживала врач Антонина Маленькая, и ему было приятно прикосновение ее крохотных, но цепких рук.

— Ураз, — говорила она. — Вы знаете, сегодня сюда пришла Ольга — жена вашего друга Егора Ярцева. Она хочет работать у нас в госпитале. Вы не забыли своего друга Ярцева?

Антонина Маленькая знала, что с ранеными всегда надо говорить о самом дорогом для них.

— Ага! Ага! — сказал Ураз и хотел было подняться, но боль в спине приковала его к постели. — Вы позовите ее ко мне. — и Ураз улыбнулся. — Я сохранил открытку. Ольга когда-то прислала ее товарищу Егору, и я, когда мы покидали окопы, разыскал открытку в блиндаже Ярцева и вот взял с собой.

В это время в палату вошли два человека. Один из них бородастый, другой бритый. Бородастый человек вел под руку бритого, как иногда ведут слепого. Они оба стали в дверях, и бритый, почему-то повернув голову совсем в другую сторону, проговорил:

— Здравствуй, Ураз Бузакаров! Здравствуй!

Антонина Маленькая еще не успела рассмотреть гостей, как Ураз крикнул:

— Левченко! Товарищ комиссар Левченко!

— Здравствуй друг, Ураз Бузакаров, — сказал и второй, бородастый. Посадив Левченко на стул, он подошел к Уразу и, опустившись на колени, крепко поцеловал Ураза в губы — так целует брат любимого брата.

Ураз громко, по-детски засмеялся.

— Нос! Нос! — выкрикивал он, не в силах удержать смех. — Нос! Антонина Маленькая... вы смотрите, в этой бороде нос Егора... Друга моего, Егора Ярцева...

И они все тесно сомкнулись около койки Ураза Бузакарова. И опять почему-то Егор Ярцев взял под руку комиссара Левченко и подвел его к столу.

«Не ослеп ли он?» — подумал Ураз и посмотрел в его глаза.

Глаза Левченко были свежи и даже чуть-чуть увлажнены слезами. Около него стояла Антонина Маленькая, и пальцы ее (а любовь человека ведь можно узнать по его пальцам) — маленькие, но упругие пальцы, ползали по его плечу нежно и мягко. И по этим пальцам Ураз догадался, что Антонина Маленькая любит Левченко совсем не так, как она любит всех.

— Ну, поцелуйтесь, — сказал он. — Поцелуйтесь, я прошу вас.

Левченко своей рукой провел по локтю Антонины Маленькой, и опять Ураз по его пальцам определял, что все чувство свое Левченко передает Антонине Маленькой. Вот пальцы потянулись выше, добрались до плеча, затем прошлись по лицу Антонины, затем обхватили ее шею.

— Тоня! Милая моя Тоня... я вижу тебя, — тихо произнес Левченко.

Дверь в палату с шумом распахнулась, и на пороге появился майор Шилов. Он был в своей постоянной, пробитой пулями шинели, веселый, радостный. Уже с порога он крикнул:

— Приветствую братьев моих!

Он шагнул вперед и замялся. Было странно: он ждал, что Левченко поднимется со стула и, как Егор Ярцев, кинется навстречу ему. Но Левченко только повел головой на приветствие, затем встал и, не отпуская от себя Антонину Маленькую, шагнул почему-то в другую сторону. И тут майор Шилов понял, что его друг комиссар Левченко слеп. Он сам по-

дошел к нему, посмотрел в его увлажненные глаза и, обняв его, расцеловал.

— Вася! Милый мой, сердечный мой друг, Вася!

— Да. Вот так. Видят только руки,— и, протянув руки, Левченко обхватил ими маленькую Антонину.

— Били его... немцы... Мы ведь его сняли с качелей... Мы его сняли, а через два дня он ослеп,— объяснил Ярцев.— Но мы потом им за глаза нашего комиссара дали жару,— добавил Ярцев, забирая в кулак свою бороду и улыбаясь молодыми глазами.

Левченко тоже улыбнулся. Он протянул правую руку и, ощупывая ею майора Шилова, тихо проговорил:

— А ты все такой же, друг мой. Верно, от тебя сильнее пахнет порохом.

— Да и от тебя им пахнет,— ответил майор.— Слышал и знаю, что вы делали со своим отрядом партизан там, в тылу. И знаю не только я. Родина знает о ваших делах.

Они сидели в палате у кровати Ураза Бузакарова и наперебой рассказывали о том, как жили эти месяцы, как дрались, что чувствовали, как продвигались вперед. Антонина Маленькая опустилась на пол, рядом с Левченко, и, положив свои руки ему на колени, смотрела ему в глаза — нежно, любяще. А Левченко рассказывал свою историю.

И вот в палату вошла Ольга.

Она стала на пороге, не прикрыв за собой двери. Казалось, она качается и вот-вот упадет. Егор Ярцев кинулся к ней и обнял ее.

— Ненаглядный,— только и произнесла она.

И они оба вышли в открытую дверь.

А те, кто остался в палате, еще долго через окно молча смотрели на то, как Егор и Ольга пересекли двор и скрылись в далекой хате.

Тираж 1.000.000. Издательство «ПРАВДА». Цена 35 коп.
А61653. Подписано к печати 25/IX 1942 г. Заказ 2321

Типогр. газ. «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.